

Grigory Pomerants, interview with Philip Boobbyer, Moscow, April 1998, transcript in Russian

ФБ: Вы можете описать этот опыт, когда Вас попросили посетить КГБ, когда Вы сидели в страхе...

ГП: (Пауза) Это довольно сложное переживание. Собственно, в КГБ я никакого страха не испытывал. Я понимал, что меня вызвали не для того, чтобы немедленно посадить, а для того, чтобы промыть мозги, и первой ступенью [...]

ФБ: Это было когда?

ГП: Это был 84-й год, ноябрь. Трудность была в том, что на меня перестало действовать лекарство от гипертонии. Нового лекарства я не нашёл, и у меня был такой постоянный фон резко повышенного давления, я бы сказал, гипертонического криза, в котором я гораздо чувствительнее и, как бы сказать, легче срываюсь вообще – вообще всё мне в этом состоянии трудно. Но ничего не поделаешь, они именно и подловили меня по телефону, поняли, что я в плохом состоянии именно в этом вызвали. Там я держался достаточно бодро, потому что, повторяю, я понимал, что речь идет о процедуре, которая кончится тем, что мне, скорее всего, скажут, что если я буду делать то-то и то-то – ну и действительно, я расписался там, что меня предупредили, ладно, то есть меня предупредили... Понимаете, ситуация была такая, я Вам, пожалуй объясню... Я наверное не с того начал... Вообще из-за чего всё это было.

Это было из за того, что я дал санкцию опубликовать за границей в журнале *Синтаксис* памфлет *Акафист Пошлости*, в котором я прямо обвинял КГБ в том, что оно развращает народ своими покаяниями по телевидению, потому что совершенно ясно, что эти покаяния они вынужденные, и оно [КГБ] как бы доказывает людям, что оно может любого человека смять в лепёшку. Я до этого никогда прямо на КГБ не нападал, я понимал, что мне это не сойдет с рук. Но почему я разрешил эту публикацию? Потому что всем остальным уже зажали рты: кто был в лагере, кто эмигрировал, Андрей Дмитриевич Сахаров был в ссылке и тоже не мог открыто выступать... И я понял, что получается так, что некому это сказать кроме меня. Вы знаете, бывает ситуация, когда некому сказать, кроме меня. Вот это, пожалуй, существенное самое. И я поэтому дал эту санкцию и понимал, что меня, скорее всего, вызовут и предупредят о применении ко мне какой-нибудь статьи. Ну, предупредили о применении статьи 190 часть 1 – это 3 года в лагере.

ФБ: То есть был [риск] опять попасть в лагерь?

ГП: Да. Но я рассчитывал, что дело ограничится пока предупреждением. Таким образом, я не шёл, так сказать, на то, чтобы наверняка сесть, а только с некоторым риском – считал, что, скорее всего, ограничатся предупреждением. И действительно, ограничились предупреждением, что само по себе вещь нестрашная. Но я был в тяжёлом состоянии физически, в состоянии такого многодневного гипертонического криза. И когда я уже пришел домой, задним числом, и меня начали упрекать домашние, что я там слишком дерзко держался – я дал обязательство, что откажусь от

прямых политических выступлений, но от публикации своих статей литературно-философского характера и моей книги *Сны Земли*, я не отказываюсь, и эти публикации я санкционирую, чтобы они больше ко мне не привязывались, так сказать – и дома считали, что это неправильно и так далее. И вот дальше у меня разыгралось воображение, и передо мной, почти как галлюцинация, начало мелькать лицо этого следователя, который вёл со мной разговор, и я почувствовал, что мне надо выйти из этого состояния. И тогда я вспомнил, что есть такой метод, хотя он очень труден – остановить свои мысли. И я начал молиться «Господи, останови мои мысли». И так как положение было отчаянное, потому что я стоял на грани какого-то тяжелого психического срыва, то я молился с огромной силой, которой обычно молитве не хватает. Вообще, возможности молитвы, я убедился, огромны, просто огромны! И не в том дело, наверное, что нас кто-то слышит непосредственно ушами, а в том, что вокруг нас есть какой-то фон благодати, мы ее просто не впускаем себя, занятые своей суетой. А если освободить для нее место, то она войдёт. Вот такой был мой опыт, что я, я бы сказал, с энергией отчаяния стал молиться, и уже через несколько минут я почувствовал, что ко мне приливает сила. Я молился в течение часа, непрерывно, повторяя одно и то же – «останови мои мысли», и когда этот час пришел к концу, я освободился совершенно от страха. Более того, у меня с давлением стало лучше, вообще произошло такое маленькое внутреннее чудо. Не в смысле нарушения законов природы, а в смысле использования тех духовных возможностей, которых обычно мы не можем использовать из-за собственной суетности. В общем, мы чрезвычайно суетны. Сравнительно с этим состоянием, обычное наше состояние – состояние суетности. Я практически понял, насколько в этом отношении нас превосходят великие молитвенники, которые умеют войти в молитву целиком, и понял слова Силуана Афонского «Кто чисто молится, тот и богослов». То есть, иначе говоря, кто чисто молится, тот приобретает как бы то присутствие Святого Духа, при котором раскрывается смысл, а не просто буква писания. С этим связано другое высказывание Силуана: «То, что написано святым духом, может быть прочитано только святым духом».

ФБ: Это очень хорошая фраза.

ГП: Прекрасная фраза. Вообще, этот простой крестьянин был замечательно глубокий человек.

ФБ: Причина моего интереса к этому опыту – это, в одном смысле, для моей работы, мне больше всего интересны не взгляды людей, а происхождение взглядов из какого-то опыта. Например, когда человек говорит о свободе совести, о внутренней свободе или о *Жить не по лжи*, мне интересны не вызов государству, а как это исходило из опыта человека.

ГП: Я понял.

ФБ: И что мне было бы интересно узнать – это были ли в Вашей жизни другие моменты, особенно в 50-60-е годы, годы диссидентства, которые Вы можете вспомнить, когда Вы что-то преодолели внутри или был какой-то внутренний кризис между принципом и прагматикой; и как Вы через этот опыт прошли?

ГП: Я, кажется, понял. Тут надо, наверное... Помню два момента. Первое: 58-й год, дело Пастернака. Мы были глубоко возмущены и послали Пастернаку цветы. Это проследили, к нам заходили, так сказать, переписали наши фамилии, хотя под предлогом выборов, паспорт, в общем какой-то ерундовый предлог... Но, должен сказать, мы все испытали страх, хотя ясно было, что это – не арест. Но мы, большая часть нас, собравшихся в моей комнате испытали *старый* страх, то есть потому что за «предъявите паспорт» следовало предъявление ордера об обыске и аресте. Хотя в общем, можно было понять, что в данном случае всё же нельзя было сразу же изготовить: сегодня мы послали цветы и сегодня же арест – так у нас не бывает. Но у всех – а это были люди мужественные, которые преодолевали страх: там сидел я, моя первая жена Ира Муравьева, и мой учитель Леонид Ефимович Пинский, прошедший тоже через Лубянку и лагерь – мы все показывали паспорта с чувством страха. И единственный, кто абсолютно не испытывал страха, был сын Ирины Игнатьевны, мой пасынок, который как-то через плечо показал паспорт. У него не было опыта этого страха, понимаете? У него не сработала старая травма. После этого, значит, мы всё-таки все подписали открытку Пастернаку, что мы выражаем ему сочувствие и так далее, и эту открытку обещали ему передать. Должен сказать, мне было трудно подписываться, но я считал своим долгом, что я должен это сделать. Вот, и после этого, подумавши, я сказал покойной Ире: “Если мы всё равно не можем удержаться от поступков, которые ведут нас к столкновению с властями, то давай подумаем, что мы можем сделать для того, чтобы расшатать этот режим”. Вот с этого момента началась моя, так сказать, активная деятельность. Сперва я вёл подпольный кружок, обсуждая с молодыми людьми, что собой представляет наша система, в каких условиях она становится уязвимой и так далее. Потом я круто переменял направление, убедившись, что подполье непродуктивно и так далее, ну в общем это дальше тактика, так сказать.

ФБ: Можно задать вопрос? Откуда появился этот момент [чувство] долга и как Вы нашли внутри себя мужество пойти на это?

ГП: Нас было 4 человека. Мы все четверо подписали эту открытку, так что это не мое личное. Во-первых никто из нас не мог простить им травлю Пастернака. Для нас поэт был святыней, мы не могли простить этой хамской власти, что она травит поэта. Даже если это было связано с риском и так далее, мы обязательно должны были это как-то сделать, как-то выразить свое сочувствие. Почему у нас такое мировоззрение сложилось – это долгий рассказ о роли поэзии в нерелигиозном обществе – поэзия была почти что нашей религией. И действительно, некоторые стихотворения были для нас почти как молитвы и так далее.

ФБ: Да, я понимаю.

ГП: Была затронута наша святыня, и мы не могли не реагировать. Дальше было, так сказать, уже мое решение, которое тут же приняла Ира – давай попробуем действовать сознательно, чтобы что-то сделать. Ну а дальше там менялась обстановка, я понял, что этот старый путь осуждён историей – подполье, что надо действовать открыто, не отрываясь от общества.

ФБ: Это тоже интересный для меня момент, когда мы переходим из какой-то оппозиции подсознательной к сознательной ответственности за свои поступки. И для каждого человека, мне кажется, это довольно переломный момент.

ГП: Наша оппозиция была сознательной [...]

ФБ: Даже до вот этого?

ГП: Ну а как же, я уже через лагерь прошел. Но она была позицией скрытой, то есть мы внешне считали, что бесполезно себя обнаруживать. И вот во время дела Пастернака я увидел, что мы не можем себя не обнаруживать, что обстоятельства таковы, что время от времени нас провоцируют, и мы все равно себя обнаружим. Вот, был переход от скрытой оппозиции к уже активной оппозиции, от пассивной, спонтанной – к активной. Дальше, опять-таки не буду описывать перемены обстановки. Я отошел сперва от всякой деятельности. Когда Хрущев опубликовал *Один День из Жизни Ивана Денисовича*, я понял, что Хрущёв, так сказать, взял на себя работу по разрушению советской власти. Я предоставил ему свободу, решил, что не стоит вмешиваться (смеётся). Хотя он действовал очень бестолково, то укреплял её, то разрушал, но в общем, я считал, что его деятельность сводится к разрушению, поэтому не надо ему мешать, что час X наступит, когда Хрущёв уйдёт в отставку. К этому времени общество сильно сдвинулось. Хрущевские годы были [временем] освобождения общества от страха, не только отдельных людей. У меня был опыт преодоления страха на войне, в лагере, так сказать, я несколько на особом положении... Но просто рядовой, советский человек уже несколько меньше стал бояться и стал смеяться над властью – Хрущёв сделал власть смешной, над ним открыто смеялись и так далее.

ФБ: И второй момент. Вы сказали, что было два момента.

ГП: Сейчас расскажу про второй момент. И вот когда он ушел, когда его 'ушли' в отставку – его вышвырнули в отставку, я решил, что наступил час X, что надо попробовать. Надо попробовать, что может сделать один человек без всякой партии, без всякой договоренности с другими, своим словом. И я начал ездить по институтам Академии Наук, участвовать в разных дискуссиях, чтобы создать себе 'трамплин' для выступления; пока политики не касаясь. Через год возникла острая ситуация.

ФБ: В каком году?

ГП: В 65-м, во второй половине 65-го. Три академика опубликовали в *Правде* статью, где они доказывали, что, в интересах истины, надо признать заслуги Сталина. Это было явное свидетельство, что взят курс на реабилитацию Сталина – перечеркнуть всё, что было сделано в этом смысле Хрущёвым. Шесть докторов написали письмо противоположного содержания, но его не напечатали.

ФБ: Это в каком..?

ГП: Это 65-й год. Ну, а публикация в газете *Правда* – это официальное уже заявление, *Правда* не публикует [...]

ФБ: А шестеро опубликовали свой ответ где?

ГП: Нет, они написали, но их не опубликовали. Значит, стали либералы искать возможности как-то иначе подействовать. И вот тут ко мне прибегает Сенокосов, которого Вы возможно знаете, он там мелькал в КО (*?). Он тогда был ассистентом, что ли, Юрия Александровича Левады и предложил мне уже с докладом выступить – а не просто протянуть руку и 5 минут говорить на тему – на дискуссии на тему личности общества. Я ухватился за это и на всякий случай, чтобы не напакостить организаторам и понять, что они хотят, спросил у Левады в осторожной форме – он парторг был – можно ли касаться Сталина. Левада мне улыбнулся и сказал: “Взят курс на реабилитацию Сталина, следовательно – можно”. То есть то, что сказано на словах, ничего мне не разрешало, но по улыбке я понял, что что он не прочь, чтоб я нахулиганил. И я тогда начал со страстью готовить свое выступление. Я понял уже тогда на капустниках – такие шуточные спектакли устраивались в учреждениях, библиотеках, где мы высмеивали то или другое – что у меня есть некоторый ораторский талант. Я в течение, значит, примерно 3-х недель придумал свою речь. И когда я выступил, мне удалось совершенно заморозить аудиторию, кружась вокруг Сталина, но не называя его по имени, понимаете, создавая его портрет из мозаики всемирной истории, говоря то об одном тиране, то о другом тиране, понимаете?

ФБ: Это где Вы выступали?

ГП: В Институте Философии, на 5-м этаже, на Волхонке, 3 декабря, 1965 года.

ФБ: Эта речь написана?

ГП: Она опубликована в журнале *Знание – Сила*. У меня его сейчас нет при себе, дома он у меня есть.

ФБ: В каком номере?

ГП: Я сейчас не помню, я Вам по телефону скажу.

ФБ: 60-х годов?

ГП: Нет, конечно, опубликовано в 90-е годы! (смеется)

ФП: А, хорошо.

ГП: Да. Причем речь строилась по законам капустника, ирония и пафос всё время переплетались. Я очень долго готовился, я создал своего рода художественное произведение. И так я кружился, кружился примерно... Что можно из мозаики создать портрет Сталина, показала Ахматова. У неё есть в одном стихотворении – она его имя не называет – она говорит: В Кремле не можно – жить, Преображенец – то есть Пётр – прав, там древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, всех Иоанов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав. Вроде бы как говорится о событиях 15-17го веков, но Сталин обрисован. Я шёл тем же методом. И вдруг, когда уже перестали люди ждать, что я назову наконец фамилию, я её назвал. Впечатление было

удара! Два человека вскочили, потом сели снова. Я потом узнал, что их просто посадили – их схватили за плечи и усадили, что аудитория была целиком в моих руках. Вот. Но тут я, ещё предварительно посоветовавшись с женой, круто изменил стиль. В общем, после репетиции дома я понял, что можно Сталина, если напрямую его назвать, критиковать, но нельзя издеваться над ним. А вся речь была построена как издевательство. Когда я назвал фамилию, я перешел на официальный язык, и начал критиковать...

ФБ: (смеётся)

ГП: Это тщательно готовилось, я не мене 3-х недель всё это обдумывал, и стал критиковать Сталина ленинскими терминами.

ФБ: (смеётся)

ГП: В результате партийные либералы приняли меня на ура. Я сказал то на, что у них не хватило смелости и ума сказать, а я сказал за них. Ну, впечатление публики – там было человек 200 – было огромным: меня ждали на каждой ступени, на каждой площадке лестницы стояли люди, не уходившие, ждавшие, когда я буду выходить, чтобы пожать мне руку. То есть я не столько своё мнение сказал – у меня есть вещи гораздо более глубокие, сколько я высказал то, что все хотели высказать. На следующий день председатель КГБ звонил в Президиум Академии Наук и потребовал признания моей речи антисоветской. Вызвали оттуда парторга (партийного организатора) – Леваду, тот сказал, что нет, моя речь была в рамках решения 20-22-го съезда.

Следующий день – демонстрация у памятника Пушкина, организованная Есениным-Вольпиным. Председатель КГБ опять звонит: «Это заговор явный». Это враньё, не было заговора. Был дух времени, который нас объединил; я думал о своём, Есенин-Вольпин думал о своём, понимаете? Но так получилось, что [в этом увидели] заговор: у памятника Пушкину видели людей, которых видели и там, которые мне аплодировали, и он еще раз требует признания моей речи антисоветским выступлением. Опять вызвали парторга, он опять сказал, что это в рамках решения 20-22-го съезда. Но, чтобы перестраховаться – всё-таки ситуация была напряженной, то обратились к Твардовскому. Твардовский был тогда членом ЦК, и он поддержал, так сказать, своих знакомых либералов, он принял текст моей речи – уже после речи я записал то, что я говорил – в портфель редакции *Нового Мира*, придав таким образом ему характер уже советского документа. Если Твардовский принял текст в портфель журнала *Новый Мир*, то это уже нельзя назвать антисоветским, не ставя под удар Твардовского, а Твардовский был известен всему Советскому Союзу – популярный поэт, член ЦК... Пришлось Семичастному отступить.

И дальше впечатление: с одной стороны не получилось того, на что я рассчитывал, не получилось цепной реакции выступления. Я думал, я покажу пример того, что может сделать интеллигенция, используя различные трибуны для того, чтобы выступить. Единственное оказалось выступление, подхватившее это – это [выступление] режиссера Михаила Ильича Ромма, известного режиссёра. Он тоже выступил с довольно яркой речью против реабилитации Сталина. Потом он звонил мне,

приглашал к себе. Мы провели очень интересный вечер. Он каялся передо мной за свою прошлую жизнь, что он, дрожа от страха, создавал фильмы, которые разжигали ненависть к врагам народа, и в то же время каждую ночь думал, что за ним придут, и завтра он сам будет враг народа (смеётся).

ФБ: Как его звали?

ГП: Михаил Ильич Ромм.

ФП: Какие [он снял] фильмы?

ГП: Ну вот такие, официальные фильмы: *Ленин в Октябре*, *Ленин в 1918-м году*, где изображалось покушение на Ленина... Сейчас наиболее известен фильм *Обыкновенный Фашизм*, который у нас долго не выпускали, потом всё-таки выпустили. Он порядочный человек, несомненно. Приглашал меня к себе чтобы сотрудничать с ним... Но он очень скоро умер, так что сотрудничества не получилось. Так что, вот такой цепной реакции выступления не получилось. Но что получилось, что речь была подхвачена во-первых самиздатом, а во-вторых [...]

ФБ: Опубликована была в самиздате?

ГП: Ну то есть фактически самиздат её опубликовал. И еще помогли радиостанции западные. С некоторым опозданием текст туда поступил, и по радио это передавали. И в результате, я думаю, что не менее ста тысяч человек познакомилось с текстом в этой речи, которая не публиковалась, понимаете? Тут сказала уже роль того, что у нас называют фальшивые голоса. Иностранная радиостанция – официальное название – фальшивые голоса. Они разнесли это по эфиру над всей Россией. Люди из самых отдалённых городов мне рассказывали, мол, я вас там-то читал или читала... Я говорю: что, насчет того-то и того-то? «Да, да, то самое!» (смеётся) – самая известная моя речь была.

ФБ: Вы можете кратко описать самые важные моменты Вашего морального мировоззрения в течение того времени – 65-й год? Вот Вы были против Сталина, из-за чего? Буддизм был важен для Вас в то время или Христианство?

ГП: Нет, нет. Я Сталина не любил еще до того, как меня арестовали.

ФБ: Когда Вы были в тюрьме?

ГП: Я был арестован в 49-м году и просидел до смерти Сталина. В лагерях было несколько интеллигентных людей на том лагпункте, где я сидел. Мы много раз обсуждали положение, и чтобы нас никто не подслушал, мы прогуливаясь говорили, а вместо *Сталин* говорили Joe the Terrible по-английски, авось, так сказать, не поймут. Мы все Joe the Terrible очень осуждали и новый 53- год мы встречали с тостом Carthago delenda est (лат.) То есть мы, уже в лагере стояли на позиции [...]

(Запись прервана)

[...] это во мне сложилось... Это подготавливалось еще под влиянием коллективизации, террора и прочего. У всех были какие-то колебания: на войне я колебнулся в другую сторону... Но окончательно у меня сложилась в лагере [...]

(Запись прервана)

[...] где он уже противник этого режима. Я, безусловно, с сочувствием принимал шаги по осуждению Сталина, хотя считал их неполными и недостаточными и, конечно же, поворот к тому, чтобы реабилитировать Сталина, для меня был абсолютно неприемлем. Я готов был, так сказать, на риск, на борьбу, чтобы этому противостоять.

(Запись прервана)

[...] просто люди мужественные, которые старались что-то делать, не выходя за рамки легально советского поведения. Вот один из таких людей был Левада. Он диссидентом не был, но он очень упорно проводил, так сказать, линию такого, твердого либерализма. Ну, например, не только [то, что] он тогда меня сумел защитить, он.... Ну его, конечно, из парторгов выкинули там и очень ограничили в деятельности, но какой-то семинар у него был. И на этом семинаре он давал возможность выступить с прощальной лекцией всем людям, которые решали уехать в эмиграцию. Это было резким нарушением, не закона – закон этого не запрещал, но обычаев, понимаете? На его семинары, так сказать, каждый уехавший, иногда это были довольно крупные учёные, получал возможность выступить с прощальной лекцией, так сказать, попрощаться. У него обсуждалась, скажем, деятельность [художника] Глазунова, которого поддерживало правительство, и довольно резко критиковалась. Словом, это был какой-то маленький очаг такой нормальной интеллектуальной жизни.

ФБ: Я не хочу писать о диссидентском движении, я хочу писать о моменте инакомыслия с нравственной точки зрения, это немного другое, [...]

ГП: Да, я понимаю.

ФБ: [...] пробовать как бы показать, как нравственный момент может [влиять на] общество. Что Вы думаете о нравственном содержании диссидентского мировоззрения?

ГП: Диссидентское движение с начала и до конца этически окрашено. Многие видные деятели его вообще считали, что это движение неполитическое. Скажем, Татьяна Великанова была в этом убеждена всю свою жизнь, и, между прочим, она это доказала: как только рухнула эта система, она вернулась к своей частной жизни, не стала использовать свой авторитет, чтобы делать политическую карьеру – ей это внушало глубокое отвращение. В этом была даже некоторая слабость диссидентского движения: оно было единственной более-менее развитой формой оппозиции и несёт некоторую ответственность, что оппозиция совершенно не была готова к перемене обстановки – то есть никаких планов [о том], что [нужно было] делать, не было. Об этом мне говорил Игрунов, что когда он поставил вопрос, почему мы не пытаемся разработать план, а что если вдруг повернётся... Его зашикали, что, мол, у нас чисто

нравственное движение, победы у нас никогда не будет, дело наше безнадежное... (смеётся)

ФБ: (смеётся) Да.

ГП: И, пожалуй, единственное крупное исключение – это Сахаров. Он всё время строил какие-то планы. Тут неважно, на 100% они верны или нет. Они, конечно, как все планы, были не совсем точны. Но во всяком случае, Сахаров пытался какие-то планы создавать о развитии дальнейшего, а диссидентское движение, как правило, ограничивалось вот таким этическим протестом.

ФБ: Из Вашего опыта, какая была духовная или нравственная база Вашего отношения с государством?

ГП: (пауза) Ну, если копнуть подальше, то первое время моей жизни – это было колебание между критикой и принятием. Всей полноты фактов, конечно, у меня не было. До меня доходили сведения о жутком голоде на Украине, но потом, в 34-м году на съезде писателей, вроде как все признали, что достигнут успех. Ну и один из моих пожилых знакомых – человек, вообще, либеральный – сказал: «Ну что ж, победителей не судят». Казалось, что достигнут успех, хотя жестокими, страшными методами он был достигнут. Потом начинается большой террор. Это вызвало, в конце концов, у меня глубочайшее отвращение и... (долгая пауза) и не только это.

В 36-м году – я об этом говорил по телевизору – моя мама у меня спросила... В 36-м году объявили, что мы уже построили социализм. И мама у меня спросила: “Гришенька, ради этого люди шли на каторгу и на виселицу?” Я высокомерно ей ответил, что, конечно, у нас же победила общественная собственность на средства производства – так меня учили. И я почувствовал, что это ложь. Вот я не могу это объяснить, но просто я почувствовал, никаких аргументов не было. Я ей так сказал и почувствовал внутри, что это ложь. И я стал думать, что социализм, очевидно, не сводит к какой-то формуле, но это задумано было, как строй жизни, при котором будет хорошо. А ведь хорошо-то пока нету, совсем нехорошо. И та же грязь, та же бедность, и всё это называется социализм? И я стал тогда думать и пришел к выводу, что никакого социализма у нас нет – это просто за мной было записано потом в конце 30-х годов и потом мне предъявлялось в наследство, а так бы я бы забыл – но я говорил так: что у нас нет никакого социализма, рабочим и крестьянам живётся хуже, чем в 27-м году. Тогда мне было 9 лет (смеётся), но я что-то помню там: свободно всё покупалось и так далее – легче было несколько жить. Ну и другие подобные... Или, всех умных людей пересажали, одни дураки остались. Просто жизненные наблюдения приводили меня к оппозиции. В чём я сомневался – не в социализме, социализм был хорошей идеей, но то, что у нас получилось, казалось мне пародией на социализм.

После того, как я написал доклад о Достоевском, осужденный на кафедре, как антимарксистский, я показал его[...]

ФБ: Когда это было?

ГП: Осужден он был на кафедре в 39-м году, весной. Это был сравнительный период затишья террора, поэтому меня не посадили, а только стали за мной следить. Я показал доклад Пинскому, Грибу, популярным профессорам западной кафедры... Им это очень понравилось. С Пинским мы коротко сошлись. Он как-то сразу меня в друзья принял, несмотря на разницу лет. И я многое понял от него. Я его спросил, например: “Почему Вы, такой убежденный марксист, не член партии?” Он посмотрел и рассказал мне, что он видел во время коллективизации на Украине: целые сёла вымирали с голоду. И я понял, что действительно это простить нельзя. Понимаете, это всё скапливалось. Затем, поражение нашей армии в начале войны. Тоже очень располагали к критицизму. Как начались победы, я качнулся в другую сторону: всё-таки значит, Сталин создал систему, которая выдержала испытания. Потом, после войны происходит не то, что я ожидал – не дальнейшее сближение с Западом, а наоборот, охота за ведьмами, постановления о Зощенко и Ахматовой и так далее. И меня снова толкнуло к критицизму. И это вырвалось у меня – я на фронте в 43-м году вступил в партию на волне, так сказать, принятия, что всё равно дело идёт, в общем, к лучшему – у меня вырвались некоторые мои взгляды наружу, и я был исключен за антипартийные заявления. Но это уже было почти путёвкой в лагерь. И в течение 3-х лет, когда я уже был исключен, но еще не был арестован, я только у Пинского Леонида Ефимовича находил место, где люди не были подавлены страхом и открыто критиковали то, что происходит. Пинский Леонид Ефимович – это тот профессор, которому понравилась моя работа о Достоевском.

Внутренне я уже был настолько подготовлен к аресту, что, когда попал в камеру, у меня не было никакой травмы, я считал, что здесь мне и место, я действительно ненавижу этот строй. Так что у меня постепенно это всё скапливалась, не то что вдруг, так сказать, я был такой...

ФБ: Да, да. Один вопрос: я взял интервью у Александра Ципко, и он сказал, что были разные книги, которые как бы показывали возвращение к идеи совести в советское время. И он цитировал Вашу книгу о Достоевском как один из (inaud. 39.58). Вы тоже так оцениваете Вашу книгу о Достоевском?

ГП: Не только, но в частности и о Достоевском... Конечно, разбирая все мои эссе... Многие мои, так сказать, эссе о Достоевском, вошедшие в эту книгу, были основаны на нравственных проблемах.

ФБ: Это было в каком году?

ГП: Книга была опубликована в 90-м году, поэтому Цепко мог прочесть её уже в 90-е годы, но отдельные мои выступления о Достоевском ходили в рукописи – он мог это прочитать. Возможность выступать я получил примерно с 74-го года по 81-й, когда эта возможность для меня закрылась. Большей частью в Ленинграде, в музее Достоевского. Я выступал там с докладом, в Ленинграде, а потом текст в каком-то кругу ходил по рукам.

ФБ: Это значит в 70-е годы?

ГП: В 70-е годы он мог прочитать, скажем, ряд таких вещей: эвклидовский и неэвклидовский разум в творчестве Достоевского.

ФБ: Где Вы читали в Ленинграде?

ГП: В музее-квартире Достоевского. Один раз [...]

ФБ: Занимались моральными проблемами?

ГП: Там, конечно, был ряд моральных проблем поставлен. Не только. Я рассматриваю религиозные, художественные направления – всё в одном клубке, не выделяя одну сторону. Но там, конечно были... Например, в послесловии к одному из эссе я обсуждал вопрос: почему Достоевский суровее относился к энтузиастам идеи, чем к развратникам и разбойникам? Потому что от развратников и разбойников могло погибнуть [меньше людей] – я приводил пример, потому что, скажем, возможность разврата ограничена физической природой: Нерон за одну ночь лишил невинности 10 сарматских пленниц; Мессалина отдалась 25-ти носильщикам... А во имя идеи совершались гораздо более крупные дела. Я цитировал Порфирия Петровича – следователя, который говорит Раскольникову: “Хорошо, что вы старушонку убили, придумай вы другую идею, так вы во 100 миллионов раз безобразнее бы дело сделали”. Вот эта оценка энтузиастов идеи, которые во имя идеи считают, что можно шагать по трупам – это действительно основная проблема 20-го века. Надеюсь, что в 21-м здесь уже всё ясно: потому что если идея правильная, энтузиаст считает, что она спасительная, то тогда уже никаких преград, тогда уже во имя этой святой идеи можно уничтожать миллионы людей.

ФБ: Вы можете что-то добавить о Вашем опыте, о совести? Потому что я думаю, что я спросил всё, что хотел.

ГП: Ну вот и сейчас. Вот Вы получили мои лекции, вот, скажем, возможна ли чистая совесть? Там я ставлю вопрос, что всякое действие неизбежно связано со злом, так же, как всякое лекарство имеет противопоказания. Мы вынуждены действовать, но мы должны всё время [быть] на чеку, присматриваться, когда то, что мы делаем, становится не добром, а злом. Вот, грубо говоря, так сказать, смысл этого. Вместе с тем, мы должны, конечно – это уже задача не столько моральная, сколько религиозная – искать того внутреннего покоя, в котором все эти проблемы исчезают, и просто мы приобщаемся уже к чистому благу, так сказать. В общем, там это написано, можно посмотреть...

ФБ: Спасибо.

ГП: Пожалуйста.

(Конец интервью)